

ВАДИМ ЧЕРНОВ

Возвращение к детству

повесть

*«Детские годы-это горы,
из которых река берет начало и
где определяет свое направление».*

Януш Корчак

1.

...Он и двести детей, которых Он не захотел покинуть, вышли из Треблинки дымом. Это было мнимое торжество homo гарах.

Он не подчинился власти homo гарах. Не захотел, не смог и предпочел лагерь смерти, в который отправился во главе детей, выстроенных четверками. Над безмолвной колонной тех, кого Он называл князьями чувств, поэтами, мыслителями, развевалось детдомовское знамя: четырехлистный золотой клевер на зеленом фоне. Стояла жара. От вагонов на Умшлягплатце у Гданьского вокзала несло хлоркой. Когда немцы увидели Его, они спросили: «Кто этот человек?»

Так было 5 августа 1942 года. Они не знали Его, а Он знал, кто перед ним. Это Он о них писал еще в 1929 году: внимание, современную жизнь пытается формировать грубый хищник, homo гарах. Хищник хочет диктовать методы действий. Ложь — его уступки слабым, фальшь — почет старцу, равноправие женщины и любовь к ребенку.

А четвертого августа Он записал в дневник: «У него винтовка. Почему он стоит и смотрит? У него нет приказа. А может, в бытность свою штатским он был сельским учителем, может, нотариусом, подметальщиком улиц в Лейпциге, официантом в Кёльне?»

Это самая последняя запись в дневнике Януша Корчака, одного из тех людей, которые уже тысячи лет задают себе мучительный вопрос: «Что в конце?»

Януш Корчак, польский педагог и мыслитель, ответил гениально: «В конце — ребенок».

...Так начал я свое выступление на августовских совещаниях учителей в 1965 году. Быть может, мой голос дрожал, но я не волновался. В дальнем углу зала у самого окна я

вдруг увидел изрезанное морщинами лицо «Коня» — Сергея Сергеевича. Приземистый, косолапый, он смотрел на меня, как всегда снисходительно и, очевидно, скучал.

Ну и черт с ним, подумал я, но его железное лицо неожиданно, словно я глянул в бинокль, приблизилось ко мне: Карамзин, выбрось из головы свои педагогические построения. Не открывай Америк!

Я процитировал один из заветов Корчака, глядя прямо в полузакрытые глаза Сергея Сергеевича. Казалось, он дремал и не видел, и не слышал ничего. Но я хорошо знал, что это не так. Я по памяти говорил скорее ему, чем другим: «Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости. Чем же почтеннее угасший взор, покрытый морщинами лоб, жесткие седины и согбенная покорность судьбе?».

Сергей Сергеевич зевнул и согласно покачал головой, а я продолжал:

«Растет новое поколение, вздымается новая волна. Идут и с недостатками, и с достоинствами; давайте условия, чтобы дети выросли больше хорошими».

Сергей Сергеевич наклонился к соседу справа, что-то прошептал ему. Оба заулыбались: Сергей Сергеевич, как конь, оттопырив верхнюю губу и показывая верхний и нижний ряды крупных желтоватых зубов, а его сосед — скорее из вежливости. И тут я без всякого страха увидел немигающий взгляд Сергея Сергеевича, вспомнил его лекции по методике русского языка. Он какими-то необъяснимыми путями попал в наш институт, но не надолго. Он замещал умницу Радомского, когда тот заболел.

Сразу скажу, что антипатия к Сергею Сергеевичу у меня началась со школьных лет. Он у нас с седьмого по девятый вел русский. А в институте антипатия моментами перерастала в ненависть. Мне иногда хотелось встать и

ударить его по голове тяжелым. Особенно за его юмор. Он был необыкновенным борцом за правильный стиль, часто цитировал одни и те же плоские шуточки, очевидно, из своей школьной практики. Они были такого типа: «Татьяна ехала с открытым задом». Ха-ха-ха! «Она мочилась духами». Ха-ха-ха! и т. д. и т. п. Девчонки тоже смеялись, но стыдливо, а он беззвучно хохотал, как конь. За это его и прозвали «Конем».

Идеал Сергея Сергеевича — послушный ребенок и вообще детство в мундире. Мы с ним начали воевать с незапамятных времен и воевали с переменным успехом. Первый сокрушительный удар «Конь» нанес мне в институте, когда замещал Радомского. На экзамене по методике он поставил мне тройку и потом еще нагло доказывал, что я в тайне от всех придерживаюсь педологических взглядов, которые давным-давно осуждены, и испытываю влечение к текстологии.

Но он не победил и не мог победить, потому что у меня были три союзника: Радомский, Корчак и моя драгоценная Мария Ивановна. Я им верю и верил, а «Конь» — это все ложь! Радомский умер в тот год, когда родилась Зайка Травку Поедайка, и она как бы заменила Радомского — всегда рядом со мною, как он. Она — моя наивная советница, вся ее жизнь — подтверждение того, как прав был Корчак, когда писал: «Ребенок — это сто масок, сто ролей способного актера».

...Я тоже был ребенком и остаюсь им в своих снах. У меня странные сны. Они почти всегда о детстве. Я вспоминаю и переживаю свое детство во сне так, словно что-то я забыл там, что-то не взял с собою в большую и сложную жизнь взрослого. Мне чаще всего снится, что я — житель разноцветного детского королевства, у которого есть враг. Это желтоглазый, полосатый тигр. Мы воюем с ним. И нам пришлось бы плохо, если бы мы не умели летать. Тигр норовит нападать на нас только там, где над головой в нашем голубом небе его великое изобретение — крепкие сети. Их, пожалуй, невозможно порвать, но однажды я их порвал.

Однажды я не рассчитал и запутался в сетях. Это было после моего возвращения из Пржевальска. Судорога свела мои мышцы. Я изнемогал не столько от усилий, сколько от страха перед тигром, но появились слоны. Они пронзительно затрубили, призывая меня к мужеству. Усилием воли я разорвал сети. Помню, рвал их так, словно это проскрипционные списки, в которые я давно занесен, и, свободный, счастливый, летал до тех пор, пока не проснулся. А проснувшись, я увидел, что рядом в немом ожидании стоит Зайка. «Ты убил тигра?» — осторожно касаясь пальцами моих глаз, спросила она. «Хо-хо,— сказал я весело,— его растоптали слоны. Они пришли из Африки. У них большие, словно лопухи, уши, а ноги, как столбы».

Она закричала: «Ура!» и полезла на мою кровать.

А я тогда подумал, что во сне с врагами королевства детей расправиться как-то проще, чем наяву. Но это к делу не относится, тем более, что я еще вернусь к своим снам, а точнее — к своему детству.

Сейчас же идет речь прежде всего о Корчаке, о человеке, перед которым я склоняю голову, как перед великим педагогом и мыслителем. Если не считать Достоевского, он первым открыл закон, который сформулировал как заповедь: «Без ясного, пережитого во всей полноте детства искалечена вся жизнь человека».

И мое короткое повествование о Януше Корчаке, который родился в Варшаве в 1878 году, — лишь вступление к тому, что я хочу рассказать далее. Мне кажется, оно необходимо. Это ключ к моему дальнейшему рассказу и, кроме того, мой памятник Марии Ивановне Синусовой, педагогу без громкого имени, человеку совсем не трагической судьбы.

Она была верной ученицей Корчака и знала его науку о том, как любить детей, как их воспитывать в совершенстве.

Я пишу эти строки, а у меня перед глазами лежит тоненькая с побуревшими листами книжка, которая вышла в свет в 1922 году: Иоанн Корчак. Как любить детей (Интернат) — подарок моей учительницы из далекого Пржевальска. Я

его получил в тот год, когда поступил в педагогический институт.

Мария Ивановна тогда написала мне: «Голубчик, не от тебя, к сожалению, от Андрея Ивановича узнала, что ты выбрал мою профессию — профессию педагога. Я очень рада, голубчик. Я учила почти всех Карамзиных. Из них всякие люди получились: инженеры, зоотехники, охотники, партийные работники, военные и даже один писатель. Но никто не стал педагогом. Ты будешь первым в роде Карамзиных. И мне очень хотелось бы дать тебе напутствие.

Ты ведь не случайно пошел в педагогический? Правда? Это будет ужасно, если ты пошел в педагогический только потому, что куда-то надо ведь, случайно, не по велению сердца. Тогда уйди, брось, послушай меня, как раньше слушал».

Вот так получил я в свои руки книгу, которую ее автор писал, по собственному признанию, «в полевом госпитале под грохот пушек». Она десятки лет служила Марии Ивановне, которая умерла пять лет назад, а теперь служит мне. Корчак же стал легендой...

2.

История, которую я хочу изложить, началась в марте 1965 года и продолжалась несколько месяцев. Точнее, была двухнедельная поездка в Москву и дальше к Синим Горам. Таким образом, будет прежде всего рассказ о поездке, о моей семье, немного о битвах с «Конем» и о двух девочках, одна из которых велит называть себя — Зайка Травку Поедайка, и размышления о давно прошедших днях. Ирочка — это вторая девочка — моя детская любовь. Сейчас, если она жива, ей тридцать два. Я надеюсь, что Ирочка поет в Большом театре. В ее семье это наследственное — быть артистами. Может, она столь же талантлива, как ее дед, который соперничал с Мейерхольдом и Станиславским в поисках новых путей развития театрального искусства. Но он не родной дед Ирочки.

Я долго думал, что Ирочка — внучка бывшего директора оперного театра. И вдруг письмо из Сталино...

Я, наверное, глупо поступил, когда встретился с Ирочкой в Московском метро летом 1956 года. Она могла бы напомнить мне, в каком именно месте мы спрятали «Вия» и тот розоватый осколок гранита. Меня не интересует книжка, которую мы читали вслух в нашем саду. Она, очевидно, истлела вместе с засушенными в ней махаонами, но камень, который Мария Ивановна называла живым...

Камень не должен исчезнуть. Он мне был нужен. И все же я его не нашел в тайничке. Ирина не могла забрать его, когда уезжала с родителями из Пржевальска в декабре 1943 года. Они так поспешно уехали! Наверное, я забыл место и не там искал.

Можно подумать, что я придаю слишком большое значение обломку гранитной скалы и поехал за ним чуть не специально за несколько тысяч километров. Это совсем не так. Дело обстоит гораздо сложнее, если задуматься. Камень остается мертвым камнем, даже если он и с вершины Хан-Тенгри или с какой-либо другой вершины Ала-Тоо. Его таинственная сила — выдумка поэтической Марии Ивановны. И надо сказать, превосходная выдумка. Она поступила по-корчаковски, а ее рассказы о Пржевальском звучали для нас словно сказки.

Понимаю, это чистая рефлексия — думать много и часто о том, что ты забыл в детстве нечто очень важное, и связывать забытое с кусочком скалы. Но, честное слово, мысль о поездке в Иссык-Кульскую долину не давала мне покоя многие годы. Я гнал ее и злился. Бесполезно. Желание с годами не только росло, но и начало хитрить, рядиться в другие одежды. Когда умер отец — это случилось в конце 1963 года, — я твердо решил, что поехать к Синим Горам — это значит выполнить сыновний долг. Увидеть родину отца, побывать на могиле моей учительницы-матери показалось мне важным и необходимым...

Однажды я ходил к Синим Горам и вернулся, поняв одну любопытную мысль.

Первый раз за Синие Горы я отправился больше двадцати лет назад. Мне сейчас двадцать девять — вот и считайте,

сколько было тогда.

Я был такой маленький, с метр ростом, и не умел писать и читать. Но тогда думал, что уже вырос. Мы жили на берегу озера Иссык-Куль — точнее, в двенадцати километрах от озера, в Пржевальске. Раньше этот город назывался Караколом, что значит — Черная Рука. Это еще до революции.

Так вот. В Караколе умер великий русский путешественник — Пржевальский. Его похоронили на берегу Иссык-Куля, а город назвали совершенно справедливо его именем, и я в этом городе жил с 1940 года. Он окружен высокими горами. Они синие-синие...

Я не знал, что находится за Синими Горами. А знать хотелось ужасно. Мне говорили: Китай, Фергана, Голодная степь — это нынешняя целина — и пустыня Кара-Кум. Но ведь говорили, а я сам не видел.

Я отправился в путешествие к Синим Горам совсем не потому, что это было продуманным и серьезным решением. Утром, как помню, я и не думал уходить. Я решил это в обед. И, вообще, решение я принял молниеносно, не успев вытереть с лица слезы. Детей нельзя обижать, если вы хотите, чтобы из них получились нормальные люди.

В общем, я ушел в путешествие. Возможно, так поступал и великий Пржевальский, думал я тогда, не знаю. Мне не пришлось встречаться с ним. Он умер давно, в конце 19-го века.

Я долго шагал по пыльным улицам города. Я, наконец, устал, что не мудрено, если учесть — мне было шесть лет. И потом меня смутило, что горы не приближаются. И я решил расспросить дорогу у местных жителей, чтобы не заблудиться.

Около высокого пирамидального тополя сидел мальчик постарше меня. А рядом звенел арык, наполовину перегороженный дамбой из песка. «Эй, человек,— сказал я,— эта ли дорога ведет к Синим Горам?»

Он с любопытством оглядел меня, пыльного и разморенного летней жарой, сказал, что все дороги ведут к горам и даже

дальше. Он посоветовал идти берегом арыка, который берет свое начало в горах.

Так мы разговорились. Я узнал, что он очень оседлый житель и занимается главным образом строительством дамб. А путешествует в этих краях его друг. Он еще утром со своим отрядом отправился вверх по арыку.

Я пожалел, что не могу увидаться и поговорить с продолжателем дела Пржевальского, и решил отдохнуть.

«А ты уже много прошел?»— спросил Строитель Дамб.

«Десять или двадцать кварталов»,— отвечал я, и он искренне подивился тому, что я так далеко ушел от родного дома.

«А ты не боишься заблудиться?»— спросил он.

Я сказал, что самое главное — это не терять из виду цель, к которой идешь. А Синие Горы так трудно потерять из виду!

Он был очень любопытный: «А где твоё снаряжение?»

Я пожал плечами. Не мог же я ему говорить, что отправился к горам поспешно и уже жалею об этом. И хорошо, что в нем кроме любопытства, было великодушие. Он попросил меня добавлять время от времени к дамбе песку, а сам отправился домой за хлебом и за своим старым пальто, которое твердо решил отдать мне.

Вернулся он без пальто, но с хлебом. И ждал я его около получаса. «А где пальто?» — спросил я.

Он покраснел и опустил глаза. «Ты не обижайся,— сказал он.— Пальто не дала мама. Она говорит, что тебе лучше вернуться домой. Ты, пожалуй, заблудишься, если не вернешься».

Я сказал ему, что Пржевальский не боялся заблудиться. А почему я должен бояться?

«Но ведь он знал, что земля круглая! А ты знаешь это?»— спросил он.

Этого я не знал.

Повторяю, что история произошла чрезвычайно давно, больше двадцати лет назад. Я был маленький и не учился в школе, и не знал, что наша Земля — шар. Но я поверил Строителю Дамб, хотя совершенно не понимал, как знания помогли Пржевальскому всегда находить дорогу

домой. Но Строитель Дамб знал больше меня. Он все объяснил мне с помощью рисунка.

Он рисовал на песке. Мы разрушили его дамбу и сделали из нее песчаную площадку, ровную, как лист бумаги. Он нарисовал Землю на песке и горы нарисовал и сказал: «Смотри, если идти все время прямо к Синим Горам и перевалить через них и снова идти прямо и прямо, то обязательно вернешься домой. Это знают все путешественники, и Пржевальский знал. Как же они могут заблудиться? А вот ты не знаешь...»

Все это было для меня величайшим открытием. Честное слово, я был просто поражен. И мне вдруг расхотелось путешествовать. И я вернулся. Моя мама не ругала меня. Она, вздыхая, поцеловала меня. И я тогда подумал, что, господи, какой я дурак! От кого и зачем я уходил? И я поведал ей о том, что было со мною, нарисовал рисунок Строителя Дамб и передал великую мудрость о Земле, которая, оказывается, круглая, как мячик, и очень удобная для путешествий.

Мама улыбнулась и, глядя на Синие Горы, сказала: «Сынок, пройдет время и узнаешь еще больше. И не один раз в своей жизни уйдешь от меня. Но я прошу тебя, всегда возвращайся ко мне. Ладно?»

С тех пор прошло немало лет. Я уже говорил об этом. Я вырос и часто ухожу из дому. Иногда надолго ухожу, но всегда возвращаюсь. Может, потому, что Земля круглая...

Через двадцать с лишним лет я вновь сбежал к Синим Горам. Зачем, что там забыто?

Я уже пытался объяснить свою поездку, приводил самые различные причины, но чувствую, они не главные. Главное то, что я вспомнил во время двухнедельной поездки и понял, почему мне снился тигр и что это означает.

Я вернулся второго апреля. Меня по-отечески журил «Конь», почему не первого? Но первое число было воскресенье, поэтому я не особенно торопился, бродил по Москве. Я послал директора к черту и сказал, что в любой

момент могу уйти из его вотчины, а он все равно скоро сгорит синим огнем. И он сгорел после статьи в «Учительской газете». Тут следует забежать вперед и сообщить, что мы буквально поменялись местами. Мне прямо сказали в крайоно: «Извини, Карамзин, но критика легка, искусство — тяжело. Пробуй». И я стал директором школы вместо «Коня».

В день моего приезда — я прилетел в одиннадцатом часу утра — уже вечером пришла моя сестренка и сказала, что Таня у себя дома ждет меня. Но я не пошел. Мне очень хотелось ее видеть. Весь вечер не находил себе места, но выдержал и не пошел. Зайка, которая каким-то особым чувством всегда понимает, когда мне не по себе, бродила за мной по пятам и тихо вздыхала. Я уложил ее спать. Засыпая, она прижалась ко мне и сказала: «Завтра ты обязательно расскажешь то, что тебе приснится. Обещаешь?»

Я пообещал с некоторым удивлением, но все понял, когда лег на кровать. Под подушкой лежало что-то твердое. Я полез туда рукой и вытащил обломок Живого Камня, который привез Зайке Травку Поедайке с Ала-Тоо.

3.

Невольно я то и дело забегаю вперед. Даже успел рассказать, чем все кончилось. В дальнейшем я постараюсь соблюдать последовательность в изложении событий, но это — честное слово! — трудно, почти невыполнимо. Дело в том, что во всей истории нет сюжетной целостности. Она как бы состоит из отдельных событий, которые порою разделены десятками лет, но лишь на первый взгляд не связаны друг с другом...

Итак, перед отлетом из Москвы я пришел на главпочту. Я ожидал письма от Тани, но его не оказалось. Мне стало грустно, и я даже не стал читать мамино письмо. Я взял такси и поехал на Фрунзенскую набережную за билетом.

«Отчего она дуется на меня? — думал я о Тане. — Если все упирается в развод, то просто глупо. Я, разумеется, разведусь, но вовсе не для того, чтобы когда-либо снова зарегистрировать свое

чувство».

Я купил билет и на том же такси укатил в Шереметьево. Было что-то около одиннадцати часов утра, самолет отправлялся в два тридцать по московскому времени. Делать было нечего, и я решил написать письмо.

«Таня, я часто не понимаю тебя,— писал я ей.— Мне неприятен твой рационализм. Зачем ты такая? Ты можешь быть другой, господи, удивительно милой девочкой! Ну зачем, зачем ты сказала, что-у тебя не лежит ко мне душа и, мол, душе не прикажешь?

Ты любишь меня. Знаю. И можешь это отрицать сколько угодно. Неправда и неправда! Я тогда ушел, ну, вконец расстроенный, и написал тебе письмо в одну строку: «У меня такое впечатление, словно меня предали, а зачем, не знаю».

Получила ли это письмо? Ты понимаешь, у меня в новой школе начались сплошные неприятности. И зачем я в нее пошел работать? Ведь знал, что из себя представляет Сергей Сергеевич. Мы с ним, не раз сталкивались, аж искры летели. И снова начались столкновения. А после одного случая началось уже так: кто кого.

В ноябре ушла Анна Ивановна, знаешь ее, такая унылая корова, которую надо гнать из школы давно. В декрет ушла. Черт, ей под пятьдесят, а она родить собралась! И он, надеясь, что я завалюсь, всучил мне ее восьмой класс, разболтанный в дугу. Там не дети, а дьяволы, и ими верховодит великовозрастный барбос — сын председателя горисполкома.

«Конь» перед начальником ходит на задних, а на детей кричит. На тех, у кого папы просто люди. Противно. Сказал ему об этом. Правда, вежливо, тактично. Он усмехнулся, стал убеждать, что я ошибаюсь. Сказал вроде того, что дети и взрослые — два мира, по своей сути довольно разные. И мы воспитываем детей, а не они нас. Я возразил, мол, влияние этих двух миров обоюдное и что для меня, как для воспитателя, послушные, серьезные дети — горе. Я не хочу их перекармливать моралью, у них может возникнуть отвращение ко всяким хорошим словам. Я

за систему детского самоуправления и хочу быть их наставником, а не диктатором в детском царстве. Нельзя и все устраивать так, чтобы дети просто не мешали нам. Они не другой мир, они, по крайней мере, половина человечества!

Видишь, разошелся, выложил ему свои взгляды, а он их больше чем на двойку не ценит. Так и сказал, что меня недоучили, сыроватый я получился педагог. И знаешь, есть в его словах истина. Я, возможно, взялся не за свое дело. Но он — тоже. Это уж точно!

Я решил уйти из школы, но взбунтовался кое-кто из учителей. Мои сторонники стали призывать меня к борьбе против «Коня». Я вонзил в свои бока шпоры. Но он хитер и искушен в интригах. Развернулся на сто восемьдесят градусов и начал сочувствовать, объяснять мое поведение неудачной любовью. А сам ведь все прекрасно знает. Вот гад! И добился, что снова возникли на эту тему разговоры, снова пошли различные слухи: то мы, якобы, миримся; то она, якобы, собирается судиться из-за каких-то денег; то ее видели с кем-то и прочее на таком совершенно немислимом уровне. Казалось, делалось все, чтобы вывести меня из равновесия, выставляя ее этаким искательницей приключений, роковой женщиной без ума и чести.

Но я решил биться с ними до конца. Я решил пробиться к кому угодно, хоть к министру просвещения. На месте у меня ничего не получилось. Он — фигура, старейший, влиятельный! Крупные начальники — его друзья. Пожимают плечами и в лучшем случае сочувствуют, рекомендуют перейти в другую школу. Тогда я решил махнуть в Москву. Положил ему на стол заявление: прошу, мол, отпуск без содержания, якобы по семейным обстоятельствам. Не дадите, тогда увольняйте вчистую. Но он не решился увольнять. И вот я стал свободным до первого апреля. В Москве — без раздумий в ЦК комсомола и кое-чего добился. Посмотрим, что будет, а пока у меня есть время мотнуться на несколько дней в солнечную Киргизию, в страну моего детства. Давно о ней мечтаю и не хочу

терять удобного случая.

Но что я о делах и о делах. Прости, Таня, но это все так важно для меня. А ты знаешь, я виделся с твоим отцом. Был разговор о тебе. Короткий, но мне он не понравился. Даже не могу объяснить, в чем дело?

Я видел твоего отца второй раз. Пожалуй, ему не стоило говорить такое. Он, как бы между прочим, сказал, что ты еще девчонка и он не собирается отдавать тебя замуж. Так говорил, словно собирался, а потом раздумал.

По пьяному делу я читал твоему отцу стихи: «Я видел девочек лиловых, одетых совсем ни во что...» Они мне показались к месту, когда сидишь в табачном дыму и пьешь и разглядываешь танцующих под магнитофон девчонок. Потом танцы прекратились и кто-то поставил пленку с песнями Муслима Магомаева. «Amore, amore...» закричал полный страсти голос Магомаева, а мне стало не по себе. Я вскочил и выключил маг.

Получался небольшой скандал, позвали милицию. Меня сочли пьяным и ненормальным, но лучше попасть в вытрезвитель, чем слушать это магомаевское «Amore, amore...» в ресторане! От вытрезвителя меня избавил твой отец. Не знаю, что он говорил милиционерам, показывая им свои документы, но меня и Магомаева оставили в покое.

Твой отец спросил, что это, мол, на тебя наехало? Я удивился. Неужели он ничего не понял? «Несоответствие» — ответил я. Он расхохотался, непрерывно повторяя: «Ясненько, ясненько...» У меня же со словом «ясненько» возникают неприятные ассоциации, чувство томительного ожидания. Вот словно на голову набрасывают черную шаль. Я сказал твоему отцу, что не переносу это слово и пусть он не повторяет его, а то я могу уйти.

Но это уже было окончательным свинством с моей стороны. Он-то ведь тут не при чем! Мне стало стыдно и стыдно до сих пор. Передай ему мои искренние извинения. Я давно сделал бы это, но с тех

пор не видел его и не встречался с тобой. Вот такая петрушка, такие пироги, Танечка. Натворишь что-либо, а потом ни знаешь, куда деть себя! В свое оправдание могу сказать лишь то, что сказал выше. Я не переносу то слово уже лет двадцать, ну, точно, двадцать лет! Со мной в детстве произошла глупейшая история. Так сказать, моя личная история с Виём. Вспоминать это противно и трудно. Когда-нибудь я расскажу тебе о человеке, который один увидел моих слез больше, чем остальные люди, вместе взятые.

Ну, хватит об этом. Скоро все образуется и уйдут мои страхи и неприятности. Там, в родной долине, где я напьюсь иссыккульской воды и, если получится, поднимусь высоко-высоко в горы, чтобы с пика Юлиуса Фучика прочитать, напомнить миру стихи Луговского: «Мальчики играют на горе. Сотни лет они играют. Царства умирают на земле. Детство никогда не умирает».

Я отправил это письмо авиапочтой, надеясь, что Таня ответит на него, догадается написать мне в Киргизию. Так оно и произошло, но лучше бы я не получал ее писем. Нежные — в них она вся, как на ладони — и вместе с тем высокопарные, словно плохой военный гимн, тронули меня своей беззащитной откровенностью и разозлили глупой моралью. Счастье, когда такие письма получает мужчина. Значит, и он чего-то стоит! Это все так. Но вместе с тем лучше было бы не получать этой кучи писем. Я пил в ресторане «Ала-Тоо» как сумасшедший и не мог захмелеть. Мне было очень и очень погано.

Но оставим в покое воспоминания о том дне. Таких дней у меня в жизни было несколько, и я утешаюсь тем, что тот, в «Ала-Тоо», — последний...

4.

По дороге из Фрунзе на Пржевальск (почти пятьсот километров автобусом через Буамское ущелье) я почти все время разговаривал с одной пожилой женщиной. Она ехала погостить к внучке, которая учится в Пржевальском педагогическом институте. Конечно, разговора в целом не буду приводить, хотя узнал много

любопытного о ее взглядах на современную молодежь. И вспомнил-то я о своей спутнице случайно.

Приближаясь к Рыбачьему — это не то городок, не то поселок, с чрезвычайно низкими, как бы вросшими в землю домиками, крыши которых плоские, словно бильярдный стол,— женщина сказала, что Рыбачье — ее родина. Она чуть ли не со слезами говорила, что это маленькое и незаметное, обдутое ветрами место оставило в ней самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь и что оно наполнено для нее драгоценными воспоминаниями о детстве, о комсомольской юности. «Мы ложились спать вооруженными, потому что в горах бродили басмачи. Страшно вроде, но разве мы боялись? Орала во все горло революционные песни, и приятно это вспомнить».

«У нас есть такие воспоминания и такие места,— дальше говорила моя спутница. — А у вас, молодежи, что самое драгоценное в ваших воспоминаниях? Что именно и какого рода?»

Я пожал плечами и промолчал. У нас было другое. Мы ложились спать спокойно даже во время войны. Правда, иногда от голода

.....

Уважаемые пользователи!

Обращаем ваше внимание на отсутствие с.57-64 в публикации повести Вадима Чернова «Возвращение к детству». К нашему огромному сожалению, эти страницы безвозвратно утеряны.

.....

Марина, почти забывшая сына и никогда не видевшая маму и своих внуков, отозвалась сразу. Она приехала к нам в начале лета 1944 года. Это была высокая пожилая женщина, и, видно, в молодости она была гордой красавицей, так и не простившей того, что от нее отказался когда-то дед Михаил. И бабушка Марина забрала меня в Майкоп.

Кроме отца у нее было еще двое детей, которые чуть ли не в один месяц

погибли под Москвой зимою 1942 года. Их отцом был дед Алексей. С дедом Алексеем и жила бабушка Марина в Майкопе на берегу быстрой реки, которая называется Белая.

Если верить рассуждениям Жоржа, жизнь в Майкопе была последним этапом моего детства, голубого и яркого и такого незабываемого. Затем оно было как бы насильственно прервано. Точнее, детство продолжалось, но уже оно не было голубым. Голубое не смогло жить, глянув однажды, как беспечный Хома-философ в глаза Вяя. Но я-то не глянул, хотя вся давняя история оставила в моей душе неизгладимый след. У меня эта, у моих сверстников были другие истории. И я теперь часто спрашиваю себя: разве не унесли мы их с собою в жизнь? Разве они не оказали своего влияния на мое поколение?

В Майкопе я впервые увидел мой презабавный и фантастический сон. Правда, первый вариант не очень похож на последующие. Я увидел, что во сне могу летать легко и свободно, как птица. Я сделал еще одно открытие, причем такое, что долго не мог им пользоваться, не мог понять его великолепного смысла. Меня можно за это назвать глупым, но ничего. Я давно привык к этому, хотя вначале, в раннем детстве, обижался, когда надо мною смеялись и называли меня глупым. И все из-за того, что я делал разные открытия, толковал их по-своему и пользовался ими. Некоторые взрослые, узнав об этом, уверяли и сейчас уверяют, что я большой, так сказать, прирожденный мастак находить под лавкой топор. Конечно, отдельные мои открытия были малюсенькие-премалюсенькие. Но делал я их самостоятельно. Я помню, как надо мною смеялись после того, как однажды я, трехлетний, сказал с восхищением: «А мыло, если с водой, мылится!» и почему мне говорили: «Вот глупый малыш!» Разве я этим открытием не пользуюсь до сих пор? Почему-то мне с улыбкой говорили, что дважды два — четыре и, конечно, про топор, который... Я этого — даю честное слово — не понимаю до сих пор.

Да, это правда. В конце концов я

возненавидел топор. И, наверное, оттого мне часто виделась во сне желтая сосновая лавка, а под нею — черный топор, который я нахожу там, а потом бегаю по улице и кричу: «Смотрите, смотрите, что я нашел!»

Я долго мечтал о том дне, когда перестану делать открытия, но, увы! По сей день моя склонность делать открытия не угасла. Образно говоря, я то и дело нахожу под лавкой топор. Недавно я его снова нашел. И это уже всем топорам топор, смею уверить любого. Я понял настоящий смысл моего сна, о котором говорил выше. А тому, кто назовет меня глупым, я могу рассказать об одном, пусть маленьком, но удивительном открытии.

Однажды дедушка Алексей взялся паять бабушкину кастрюлю. Дно кастрюли совсем прогорело, и находчивая бабушка Марина затыкала дырочки тряпочками. Эти тряпочки часто попадались в супе и почему-то всегда в моей тарелке. Я их сразу вылавливал и молча выбрасывал — мне не хотелось расстраивать бабушку. А дед Алексей не выбросил, когда выловил тряпочку ложкой. Он думал, что это мясо. Пожевал, пососал и, наконец, все разобрал.

«Ты что же, старая, суп с тряпками делаешь?» — сердито спросил дедушка.

Бабушка заохала, объяснила, что затыкает дырки тряпочками.

Дедушка молча выслушал ее, взял кастрюлю, вылил суп нашей собаке — он был брезгливым — начал паять.

Дедушка запаял все дырки, которые увидел сквозь сильные очки. А те, что не увидел, решил пощупать шилом. Он сел около окошка, где светлее, и стал водить шилом по старому дну. Острие то и дело проваливалось, а дедушка радостно восклицал: «Еще одна попалась, бисова душа!»

И так он радовался до тех пор, пока не удивился: «Господи, да это не дно, а сито!»

Мне стало смешно и я, поразмыслив над его неудачами, сказал: «Ты сам делаешь дырки шилом. Вот глупый!»

Он после некоторого колебания согласился: «Верно, внучек, совсем горелое дно, а я его тычу. Умница ты».

Дед Алексей, — надо ему воздать

должное, — умел вовремя похвалить и поругать. И его похвала была мне особенно приятна, а я, признаться, честолюбив. Вот почему я не утерпел и тут же, сходя на кухню, похвалился бабушке, сказал ей, что дедушка назвал меня умным по такой-то причине. Она же преклонялась перед мудростью деда и возмутилась, узнав, что я его назвал глупым. Начала меня стыдить, и мне стало действительно стыдно. Меня часто называли глупым, и я знал, как это больно. И вот, оказывается, я обидел дедушку, а он похвалил меня даже после того, как я назвал его глупым.

Я поплелся к бабушке, который между тем вырезал из жести новое дно и припаявал его:

«Дед, — сказал я, — я назвал тебя глупым. Извини и не обижайся».

«Ладно, — улыбнулся дед. — Только я на тебя не обиделся».

Я рот раскрыл от удивления. Почему он не обиделся? Он все мне объяснил так: «Послушай, внучек, внимательно. Ты сказал, что я глупый, и я не обиделся. Видишь ли, если я и вправду глупый человек, значит, ты прав, и мне нечего обижаться. Если я обижусь, значит, я не люблю правды, это плохо, очень плохо. А если умный — ты ошибся и когда-нибудь сам в этом разберешься. И затем от твоих слов я не стану глупее. Не правда ли?»

«Правда! — воскликнул я. — Ты умный и потому не обиделся на меня...»

С тех пор со мною всякое бывало, разное я слышал о себе. И ничего! Видел и часто вижу людей, которые здорово обижаются, когда их называют глупыми. Я обычно пытаюсь их успокоить, рассказывая про свое открытие. Они узнают, что умные не обижаются, когда их называют глупыми. Узнают... и продолжают обижаться. А я, глядя на них, с грустью думаю, что как много на свете людей, которые никогда в жизни не находили топор под лавкой.

Вот такие люди — я смею думать уверенно — мой самый главный топор, наверное, не признают за топор. Подумаешь, сон! А что из того, что он трансформировался после встречи с Виём, который убил Великое Голубое. Я прошу извинения за то, что так определяю нечто

эфемерное и зыбкое. Но Великое Голубое — есть сущность всякого детства. Оно то святое и драгоценное, что уносит в жизнь каждый человек, и без чего не может жить человек. Это моя звезда. Я не намерен продавать справедливость за деньги, сколько бы их ни давали за нее...

Вначале мой сон был облеплен религиозной шелухой. Это уж результат влияния деда Алексея и библии. И, конечно, неправа была бабушка, которая, узнав про сон, решила, что я отмечен богом, и с тех пор относилась ко мне с затаенным, с чистым уважением. Все наносное в конце концов покинуло сон, и он стал, словно благородный алмаз, отражающий своими бесчисленными гранями мою жизнь, мечты и желания и малейшие их изменения.

Молитвы я заучил лишь потому, что это не составляло для меня труда и по настойчивому желанию стариков. А Библию прочел по совсем другой причине. Дело в том, что моя привычка читать к 1944 году стала совершенно устойчивой. Я уже не мог без книг. И, прожив неделю в Майкопе, затосковал.

У совершенно безграмотных стариков книг не водилось. Бабушка Марина по моей просьбе обежала соседней и собрала все, что называлось книгой. Она принесла несколько книг на немецком языке — они остались после оккупации Майкопа — и зоотехнический труд «Искусственное осеменение крупного рогатого скота». Такую литературу я решительно отверг. Тут появился дед Алексей, с восторгом узнал, что я книголюб и, как говорится, под шумок, предложил мне «Жития святых» и Библию. Это я прочел с интересом, предполагая, что читаю сказки. Дед попытался переубедить меня, но у меня никак в голове не укладывалось то, что мир можно сотворить за неделю. А в бога я поверил. Эту веру потом долго разрушали мой отец и его друг Дмитрий Васильевич. И оказалось, что легче заложить веру, чем изгнать ее из души человека.

Но все это имеет косвенное отношение к тому, что я рассказываю, к моему сну.

А сон был необычный. Однажды

мне приснилось, что я вырос и отправился на поиски рая. Его я нашел быстро. Он расположился в майкопском парке на берегу Белой. У входа толпились люди, но их не пускали контролеры — белоснежные ангелы. Требовался какой-то особый билет. У меня билета не было, но меня пропустили. Люди начали кричать, что это безобразие, мол, пускают по блату. Ангелы отвечали, что меня ждет бог. И ждет давно.

Я нашел бога. Я забыл, какой он из себя. Кажется, походил на деда Алексея. И он сказал: «Видишь, ты быстро нашел рай». Я сказал, что не знал, что рай — это наш паршивенький парк. Бог предложил мне остаться в нем, так как я избран для этой цели.

Перспектива остаться в парке меня не прельщала. Я посоветовал богу пригласить сюда моих стариков, потому что они этого хотят. А я хочу, мол, другого, я хочу летать. Бог опечалился и сказал со вздохом: «Будь по-твоему».

Я повернулся и пошел. По дороге мне пришло в голову, как же мне летать без крыльев? Вернуться и попросить у него крылья? Вроде бы неудобно, а потом он сказал, что будет все по-моему. Значит, я могу летать, но как?

После недолгих размышлений я пришел к выводу, что все зависит от меня. Если я хочу летать, значит полечу. Усилием воли я оторвался от земли и повис над нею. Это было восхитительно! Еще усилием воли, взмах руками, и я стремительно понесся к звездам...

8.

«Гей, гей, поселянин! Я постарался объяснить тебе многое, но ты уехал, и я понял, что не сказал главное, необходимое каждому человеку. Об этом главном думал один мудрый поэт и сочинил стихи, которые предлагаю тебе запомнить. Они — мой девиз и пусть станут твоим девизом.

О радость величавого мужества! Ни перед кем не заискивать, никому ни в чем не уступать, никому известному или неизвестному деспоту, ходить, не сгибая спины, гибкой и пружинистой походкой, глядеть безмятежным или сверкающим взором, говорить благозвучным голосом,

исходящим из широкой груди, смело ставить себя на равной ноге с любым человеком.

Не журишь, дружище, и ты, сын гор. Держи хвост пистолетом. Привет от Андрея Ивановича. Всегда с тобой твой болтливый дядька Георгий».

Эту телеграмму я получил из Пржевальска утром, после тон незабываемой ночи пьянства. Я тогда пил и читал письма Татьяны. Я надеялся, что все мне показалось. Но нет. Все было правдой, а мой дядька, там, в долине среди синих гор, словно почувствовал, как мне трудно и пакостно, и пришел на помощь. Я ведь думал только о том, что не могу возвращаться домой, что это выше моих сил — встреча с отцом Тани, продолжение борьбы с «Конем». Конечно, она не виновата, что он ее отец. И она не виновата, что любит меня. Но я, наверное, никогда не смогу полюбить ее, потому что не могу и не хочу изменить детству...

И Жорж прав. Я должен быть сыном гор. И, да здравствует радость величавого мужества.

Жорж пришел ко мне вечером того дня, когда мы бегали с Андреем Ивановичем из Тюпа в Пржевальск. После столь необычного соревнования мы долго парились в русской бане. Парились по всем правилам, так, как делали это наши деды. Андрей Иванович лил ледяной квас на раскаленные железные колосники и, гикая, взвизгивая, без жалости лупил себя веником. А я сидел около двери и, обалделый, часто мочил голову холодной водой. Приблизиться к парилке у меня не хватало духу. Я с восхищением смотрел на деда. Он был в клубах пара, как бог среди облаков, крепко сделанный из вечного материала. Вот человек! Пил всю ночь, пробежал босиком по грязи пятнадцать километров и ему хоть бы хны!

Он отдал мне проигранную в споре шкуру снежного барса. Я не хотел брать, потому что, мол, победа была естественной, ее стоило ожидать. Не велика заслуга обогнать шестидесятилетнего старика, даже такого крепкого и выносливого, как он. Я об этом прямо сказал Андрею Ивановичу. Он рассмеялся,

похлопывая себя по бедрам, отвечал, что я, мол, не понял сути нашего спора. Его сын Василий пробасил: «Отец хотел убедиться, не потерял ли ты, дорогой, достоинства нашего рода. И убедился, что нет. Силенка в тебе есть».

Я взял на память шкуру снежного барса, того самого барса, которого Андрей Иванович выслеживал целую неделю. Так получилось, что он первым выстрелом не убил зверя. Раненый барс кинулся на охотника, и Андрею Ивановичу пришлось бы туго, если бы он растерялся. Но Андрей Иванович не растерялся и убил барса кинжалом.

«Это было в двадцать шестом году,— вздыхая, говорил дед.— Тогда я был покрепче, а сейчас сдал, совсем старик! Сейчас мне с такой зверюкой не справиться!».

А я подумал: «Врешь, дед, справился бы».

...Жоржу я сказал со злостью: «Чего пришел к сыну маляра?» Но он не обратил внимания на мои слова, а был у меня как дома. Он, большой и грузный, сел прямо на стол и начал названивать в ресторан. Я лежал в постели, напротив стола, и рассматривал на лацкане Жоржа значок депутата. Меня злило его поведение. Подумаешь, известный писатель в местных масштабах! Он орал в телефонную трубку, чтобы в номер, где он, важное лицо!— принесли икорки, какие-либо фрукты и бутылку пять шампанского.

«Брось дурака валять,— сказал я.— И потом, не хочу пить. Ну его к черту! Хватит с меня пьянки в прошлую ночь».

«Будешь, — безапелляционно заявил мой дядька,— а то тебе не развяжешь язык».

Он слез со стола, подошел к кровати и, пристально глядя на меня, неожиданно начал гладить мои волосы. Я ничего не понимал, так все было неожиданно. Утром Жорж был другим. Грубым и неостроумным. Когда я зашел на кухню, грязный, уставший, он как-то равнодушно оглядел меня и, продолжая жевать яблоко, сказал: «Здравствуй, сын маляра!» Я вздрогнул, словно меня ударили, и хотел уйти, но Жорж спросил: «Ты не узнаешь меня?»

Я покачал головой. Он съел яблоко до конца и после этого сказал: «Я твой любимый дядька. Тот самый, которому ты однажды напудил в тарелку с борщом». И, довольный тем, что извлек из своей памяти такую яркую деталь, рассмеялся.

Мне хотелось наругать ему, но я сдержался по методу Марии Ивановны: «Когда злишься, считай до ста, до тысячи, и все пройдет. А то на злых воду возят...»

«Понял?» — спросил Жорж и взял бокал с красным цимлянским, рассматривая его на свет. Я ответил, что пока ничего не понимаю и пусть он на это не сетует. Он поскущел, повздыхал и сказал:

«Этого никто не понимает, но каждый считает своим долгом что-то понять, разобраться. И вообще, каждый норовит показать себя думающим. Этаким интеллектуалом, который не прошел мимо Кафки, черт всех подери!»

9.

Вспоминая наш разговор с Жоржем, я вовсе не хочу показать себя эрудитом, превознести своего дядюшку-писателя до небес. Казалось бы, что притча о селянине, рассказанная Жоржем, не имеет никакого отношения к моей истории. Но это, если вдуматься, неверно. Жорж выполнял просьбу моей матери и делал это так, как умел. Он объяснял, докапывался до причин, и я за это ему благодарен. Он как бы проломил барьеры привычного мне мышления, постарался, чтобы я увидел себя со стороны, в луче того неугасимого света, который струится из врат Закона. Я должен плевать на предостережения привратника и всегда идти к Знанию и Справедливости. Как Мария Ивановна и тысячи других людей...

Мы говорили о моей жизни, мы говорили о том, что меня волновало. Я вспоминал, возвращался к прошлому, сопоставляя факты и объясняя все с помощью Жоржа. Это был диалог, который я постараюсь воспроизвести как можно полнее.

— Скажи, — попросил он, — ты не прочь говорить со мной?

— О чем?

— Как тебе сказать. Ну хотя бы о том, как ты понимаешь притчу о поселянине. Есть такая притча у Франца Кафки. Многие ее знают, а Кафки не знают, но говорят: «Трудный писатель, читаешь и морщишься от отвращения. И вообще, он — мистификатор!»

Я промолчал. Жорж нажал пальцем, кончик моего носа. Так он всегда делал, когда я был маленьким и когда я задавал ему вопросы и он начинал отвечать.

— Пи-пи-пи, малыш! Машина трогается, и мы едем. Наш путь будет долгим и трудным, но ничего, мы опытные путешественники. Ты помнишь, как мы это делали раньше? У нас хорошо получалось. Но самыми лучшими были наши попытки достать луну. Она так привлекала тебя. Ты помнишь? Я брал тебя на руки и поднимал высоко-высоко. Ты тянулся к ней руками, но не доставал. Твоя мама давала палку и ты пытался сбить луну палкой. Забавный ты был парень, честное слово!

— Ага, — сказал я. Он вздохнул.

— Ты, дорогой племянничек, ключей ежа. Таким был и твой отец. Я это понял сразу, как увидел тебя. У нас будет нелегкий разговор, но он будет, хоть ты лопни!

Я сказал:

— Ты тоже хорошая цаца. Захожу — двадцать лет ведь не виделась, — он спокойно жрет яблоки и говорит как ни в чем не бывало: «Здравствуй, сын маляра».

— А что, обнимать тебя? Ты был грязный как черт. Глаза усталые, отсутствующие. И ты был в тот момент ужасно похож на своего отца.

— А какое это имеет значение?

— В общем-то, никакого, я просто растерялся, честное слово! В таких случаях обычно прикидываются равнодушными, чтобы не увидели растерянности. Это, так сказать, защитный рефлекс. И ты не обижайся, ладно?

— Договорились, не буду. Но ты скажи, почему ты так к моему отцу? Это непонятно. Он был хорошим человеком.

— Возможно. Хочешь все начистоту?

— Давай.

— Признание номер один! Я был влюблен в твою мать — она моя первая любовь. Вы приехали в Пржевальск, сколько мне было? Лет пятнадцать, а твоей матери двадцать пять. Теперь понятно?

— Значит, ты ревнивый?

— Ага,— сказал он.— Было немножечко. Ну и, наверное, осталось. Напоминание было...

Он полез в карман и вытащил оттуда надорванный конверт. Протянул его мне с такими словами:

— Я не хочу юлить, крутить. Это не по мне. Признание номер два: я приехал в Пржевальск только для того, чтобы увидеть тебя и выполнить просьбу твоей матери. Вот ее письмо, читай и после этого решай, будем ли мы говорить или нет.

«Я теряюсь, начав писать тебе, милый Жорж. Как тебя именовать, как обращаться к тебе? Я хорошо знаю, что ты стал большим человеком. Нет-нет да напишет Андрей Иванович. От него все известно про тебя. Он прислал и твои книжки. Роман «Одинокий верблюд» я читала со слезами и вспоминала тебя, наши беседы в Пржевальске и твое признание в любви...

Но я, разумеется, пишу тебе вовсе не для того, чтобы напомнить о давно прошедшем. К тебе у меня огромная просьба. Я долго думала, написать тебе или нет. И если тебе покажется, что я напрасно сделала это, прости бога ради и пойми, Жорж, я прежде всего мать. Мать и на поклоны пойдет ради своего ребенка.

Жорж, у меня все хорошо. Самая большая печаль — смерть Сережи — как-то сгладилась не только временем, но и заботами о живых, о детях, о внуках, которых у меня двое. Я написала «все хорошо»... было бы, если бы не одно. Я имею в виду своего старшенького, твоего любимчика. Ты не забыл его? Он должен к вам в Киргизию приехать. Зачем, не знаю и не пойму. Наверное, он этого и сам не знает.

Он, конечно, сейчас не совсем в себе. Тут с ним приключилась беда, неприятности по работе. Но главное, то, что он неудачно женился и переживает это. Он очень любил ее и, пожалуй, продолжает

любить и сейчас. Я ничего плохого про нее не могу сказать. Она лично мне плохого не сделала. Я ей — тоже. Мы никогда не ссорились, и я даже понимаю ее. У бедной девочки была трудная жизнь. Без отца, мать вышла за другого. И отчим на ее глазах застрелился в припадке пьяной меланхолии или по какой другой причине, не знаю. Ну, ее

мать как бы сошла с рельсов, и это надолго: чуть не каждый день в доме новые и новые утешители. Детства у девочки не было. И вот еще одна искалеченная жизнь. Ты не представляешь, как потрясающе одиноким может быть ребенок в своем страдании. Я это особенно остро почувствовала после одной давней истории с моим Феденькой. Он после нее сделался другим, замкнулся и не переносит в других малейшую фальшь. Моментами просто нетерпимый и резкий. Такими бывают глубоко обиженные дети. Не хочется вспоминать старое, да придется. Ты должен знать все. Иначе тебе трудно будет выполнить мою просьбу. Кто знает, может, я ошибаюсь. Может, но сердце подсказывает: причина в той истории 1945 года.

Понимаешь, в 1945 году на него было заведено следствие. Не то что даже следствие, политическое дело! Для этого он был и мал, и глуп, и с него спрос такой. Но его допрашивали, выясняли, кто его научил написать на заборе какую-то глупость. Я толком и забыла, какую именно.

И вот с того времени его словно подменили. Задумчивый стал, внешне спокойный, но чувствую сердцем матери, что внутри, в душе у него что-то не так. В конце 1946 демобилизовался Сережа. Я ему все рассказала. Он испугался страшно и сказал, что какое счастье, что произошло это без него, а то, мол, не сносить ему головы. Оно, может, и так, не знаю. Сережа пытался с ним говорить, но ничего не выяснил. Мальчонка же мне как-то наедине сказал с такой горечью и упреком: «Мама, зачем ты ему все рассказала? Мне ведь все так неприятно вспоминать!»

Годы шли, шли... Иногда Сергей возьмет и как бы в шутку спросит: «Ты помнишь, сынок, что ты там на заборе писал?». Он весь передернется, зло

пробурчит: «Помню!» и тут же уходит.

Вот такое было, милый Жорж. А может, и еще что было, не знаю. Я тебя очень

прошу, поговори с ним, попробуй помочь ему разобраться в себе, найти себя. Ты умный и душевный человек. Как ни есть, а писатель и с ним когда-то дружил. Он всегда уважал, любил тебя. Попробуй, Жорж. Он, может, зайдет к тебе, а не зайдет, сам найди его и поговори. Я останусь тебе благодарной на всю жизнь».

10.

К осени 1945 года мама забрала меня от бабушки Марины. Я вернулся в Ставрополь и пошел учиться во второй класс. Мама в это время работала в ремесленном училище, которое расположено на краю города около психиатрической больницы. Моя школа была напротив училища. После занятий я прибегал к маме, готовил в библиотеке уроки вместе с ремесленниками. У меня появилось много друзей, и всякое со мной бывало. Я научился играть в альчики, драться до крови, плевать метров на пять и тайком лазать в огромный больничный сад. Но более всего я любил играть «в пожара». Тут требовались ловкость, острый глаз, как при игре в городки, и возникал удивительный азарт, ощущение яростной борьбы.

Однажды во время игры «в пожара» к нам подошли двое парней и попросили сделать ставку на кон, вокруг которого разгорелась борьба. Мы согласились, нам польстило то, что с нами будут играть почти взрослые люди. Они легко обчистили нас. Дольше всех держался я, но в конце концов тоже проиграл. Право, я не менее азартен, чем Андрей Иванович. Это, наверное, у меня в крови. Я предложил парням играть на американку. Американка означала, что выигравший кон может требовать от партнеров все, что он хочет.

Я подряд выиграл несколько американок и разное требовал от парней. Помню, раз потребовал, чтобы они поочередно прокатили на себе всех моих друзей. Они добросовестно выполнили мой

приказ. Во второй раз я велел им кричать по-петушиному. Это было уморительное зрелище: два великовозрастных балбеса надрываются, словно настоящие петухи на заре. Мы хохотали до слез. Я наслаждался своей властью и крупно вырастал в глазах уличной босотвы и ремесленников. В конце концов я проиграл. Парни пошептались и предложили мне, как мне показалось вначале, нетрудное задание — написать на стене училища несколько слов. И я недогнувшей рукой вывел на стене лозунг, который гласил... Впрочем, это не столь важно, какой именно. Я до сих пор не могу без дрожи вспоминать свою глупость и того, что было потом...

— Что с тобою делалследователь?— быстро спросил Жорж.

Я пожал плечами, сказал: — Представь себе, ровным счетом ничего. Совершенно спокойно и даже задушевно расспрашивал, как все произошло.

— И ты рассказал?

— Конечно. Только не все так, как было. Я сказал, что написал лозунг от нечего делать. Пришло в голову и написал. Не выдавать же мне тех парней! Разумеется, свидетель мне не поверил. Я продолжал уверять, что так и было, как говорю. Тогда он довольно популярно объяснил, какое политическое преступление я совершил, и начал настойчиво расспрашивать, о чем говорят у нас дома взрослые, с кем они встречаются, какие книжки читают, и все в таком духе. Я был малыш, но легко сообразил, что над родными нависает непонятная угроза и что болтать лишнее не стоит. Сам знаешь, взрослые говорят дома многое и о политике тоже. Особенно в нашем доме. Мы жили у мамы сестры. А муж мамы сестры был в свое время довольно крупным комсомольским работником. Был делегатом III комсомольского съезда, слышал речь Ленина, лично знал Сергея Мироновича Кирова.

Так вот, когда свидетель — а он, должно быть, знал о моем дядьке, побывавшем на Колыме,— очень интересовался разговорами в нашем доме. Но я ничего об этом ему не сказал и в отчаянии выложил правду. Все как было. И

он ее узнал, но не поверил. «Ловко выдумано,— сказал он.— Кто тебя научил?» Я отвечал, что никто и что я теперь говорю правду, одну правду. Он мне в ответ: «Ясненько, ясненько». И хмуро улыбался. Мол, нас не проведешь. Я разрыдался, а он свое: «Ясненько, ясненько. Только Москва слезам не верит». И так ежедневно, с обеда до позднего вечера. Это было невыносимо. Представляешь, Жорж, я стал испытывать совершенно непонятный страх, ощущение того, что я в какой-то западне и нет выхода. Я, как в сетях, запутался. Сети, сети... Я, наверное, сотни раз рассказывал ему про то, как было, но он упорно не верил.

— И чем все закончилось?

— Ничем, в сущности. Он, должно быть, убедился, что я не лгу, и стал требовать, чтобы я назвал тех парней.

— Ты назвал?

— Нет. Я их видел впервые. Но он не верил. Тут я его, думал об этом, понимаю. Формально он мыслил правильно, весьма логично. Но раздвинуть горизонт своего формального мышления он, пожалуй, не мог. Он, как я вспоминаю, обнаружил явную тягу к тому, чтобы держаться в колее установившегося движения мысли без умения быстро и своевременно прорывать ее узкий горизонт.

— Таких людей много,— сказал Жорж.— Людей, которые не могут предположить другие случаи, могущие при определенных условиях образовывать новые классы моделей, открытий и догадок, так же как и препятствий, мешающих их отгадыванию. Нет, что ни говори, а формальное мышление, инерция велики в каждом из нас. А он, твой следователь, был кретин или обалдевший от страха homo carcha. Был приказ, выполнял, потом приказ, наверное, отменили.

— Неприятно такое вспоминать. Гадость ведь. И почти забыл.

— Это врешь. Боялся вспоминать, и только.

Я стукнул по столу кулаком и весело сказал:

— Знаешь, почему я выдержал ту двухнедельную нервотрепку? Благодаря фантазии. Ей-ей! Когда мне становились невмоготу его одни и те же вопросы, я

воображал, что он — Вий и что вообще бомбежка страшнее.

— Можно подумать, что ты видел бомбежку,— возразил мой дяденька.

— Ирочка видела, — сказал я быстро.— А я видел Вия не в первый раз. И нечего было его разглядывать, как это сделал Хома.

Жорж вздохнул и залпом выпил стакан вина.

— Ты все выдумываешь. Ты был тогда бедным лилипутиком. Лили-путик-поселянин у врат в Закон. Ну, тогда — еще ладно. А сейчас?

Я тоже выпил залпом и сказал:

— Сейчас я сражаюсь с «Конем». И могу его победить.

— Поздравляю. Значит, тебя он не запугал, и ты, пожалуй, будь ты на месте поселянина, сумел бы плюнуть на формальный запрет привратника.

— Не сумел бы, а сумею. Это разница. Дождаться до смерти приглашения стражника я никогда не стану. Это не по мне — быть логичным всю жизнь и, стремясь к Закону, остановиться у врат Закона, видеть его неугасимый свет и лишь перед смертью узнать, что ворота были предназначены только для тебя одного.

— Bravo, Федор! Не только Андрей Иванович, но и я,— правда, с другой стороны — выяснил, что ты не потерял лучших качеств нашего рода. У нас, дружище, славный род. Он, говорят, ведет свое начало от Ермака. Мы — Ермаковичи, дружище. Мы — потомки тех людей, которые не знали страха, узкого кругозора. Наши предки освоили Сибирь, а затем и долину озера Иссык-Куль. Я, когда прочитал письмо твоей матери, грешным делом, подумал, что ты пошел в моего двоюродного братца Сергея, над которым успешно поработали его мачехи. Да и Михаил Иванович — упокой, господь, его душу — приложил свою руку.

— Мне об этом говорил Андрей Иванович,— сказал я, — но была еще и Мария Ивановна, не забывай, Великая Мария Ивановна. Его звезда — символ справедливости. А она красная, как кровь. Отсюда отцова любовь к красному цветку.

Ты ведь знаешь эту его, на первый взгляд, странную любовь.

— Знаю. Только объясняю ее по-другому.

Жорж нахмурился, а я спросил:

— Как? Вперед, ты мой Вергилий!

— Нельзя сказать, что Сергей Карамзин был заурядным человеком. Ни-ни! Он хотел выделяться, но в то же время ничем не рисковать. Выделяться только для того, чтобы тебя объезжали, не перепутали с кем-либо другим и не сбили с ног. Красней, красней, только бы не попасть в проскрипционный список! Впрочем, есть и другое толкование чудачества твоего отца!

— Какое, Жорж?

— Красное — цвет нашего времени. Мир, так сказать, стремительно краснеет. Разумеется, не от стыда перед собственным бессилием. Под красными знаменами все больше и больше людей. Это закономерно и справедливо. Сергей, что ни говорить, истый сын довольно известного революционера. Для него любовь к красному — выражение лучших чувств к Революции и к ее завоеваниям.

Я попросил:

— Давай остановимся на этом толковании...

Как чудно устроен мир! Удивительный он. Впрочем, лучше всего о нем сказал Корчак: «Удивительные деревья, как удивительно они живут! Удивительные маленькие червяки — живут так недолго. Удивительные рыбы — живут в воде, а человек задыхается в ней и умирает. Удивительно все, что прыгает и порхает: кузнечики, птицы, бабочки. И звери удивительные — кошка, собака, лев, слон. И на редкость удивителен сам человек».

Нет на свете моего отца, моего деда, нет Марии Ивановны... Они ушли, но в то же время они есть. Они существуют в моем сознании, я продолжаю любить их. И еще, в моем сознании остается так, словно это было вчера, одна экскурсия нашего первого «А» класса.

«Люди, — сказала Мария Ивановна, — сегодня мы будем учиться в горах. Оставьте буквари в классах, возьмитесь по двое за руки и пошли».

Люди медленно, держась за руки, по двое, пошли за город. Пржевальск — он и сейчас не очень велик. Чтобы пройти его из конца в конец, достаточно получаса. Мы скоро очутились за околицей.

Я шел с Марией Ивановной. Я вообще ее считал родной бабушкой и всегда старался держаться к ней поближе. Но она — снова воздаю ей должное — никогда не выделяла меня среди людей, хотя я, конечно, был для нее больше, чем другие, по причинам, о которых было сказано раньше.

Был осенний, тихий-тихий день. Летела паутина. Дремали вокруг нас черносиние и белые горы. Мы подошли к устью ущелья, которое называется Караколом, что означает — «Черная рука». В нем брала свое начало бурная Караколка. И здесь, на берегу Караколки, мы повстречали Ирочку.

Первое время я относился к Ирочке насмешливо, хотя и дружил с нею. А она была удивительной и странной в своей доброте ко всему живому и даже неживому. «Феденька, я тебя прошу, не лови никогда махаонов и не мучь их. Ладно?» — сказала она, когда я показал ей коробку из-под конфет, в которой на булавках высушили гигантские среднеазиатские бабочки, пойманные мною летом, перед тем, как приехала Ирочка. Это было понятным. Но мне было непонятным, смешным ее занятие ходить иногда в парк и собирать там разноцветные камешки. Она собирала их, словно грибы, в сумку и относила в лес: там их, таких красивых, никто не будет топтать!

Ирочка подошла к нам и церемонно, и в то же время очень естественно поклонилась, как маленькая королева, сказала: «Здравствуйте, Мария Ивановна и Феденька».

Я спросил: «Ты что, и тут собираешь разноцветные камешки?» Она тихо ответила: «Да» и покраснела. С насмешкой я всем сказал, что она носит камешки в лес, жалея их, словно они живые. Люди засмеялись. Не смеялась только Мария Ивановна, которая сильно сжала мою руку и вдруг бросила ее, будто в досаде.

Ирочка была всегда, как огонек: не трогаешь его, греет, а чуть дунул, навредил

— и она погасла. Она ничем не выдала своей обиды, но вся съежилась и тихо, стараясь быть незаметной, пошла от нас. Ее догнала Мария Ивановна, вернула и строго сказала мне: «Карамзин, возьми Иру за руку и идите вдвоем». Мы пошли дальше. И я шел с Ирочкой, а не с Марией Ивановной. Я чувствовал, что Мария Ивановна не одобрила того, что я сказал, и мне было не по себе. Вот так бывает со мной, натворишь что-нибудь, а потом не знаешь, куда девать глаза. Через силу я спросил у девочки: «Ты обиделась?» Она ответила почти неслышно, что да, обиделась и с мягким упреком сказала: «Чем смеяться, лучше бы уж побил. Мы вот читали про Вия, и тебе стало страшно. Разве я смеялась?»

Да, она не смеялась. Это уж точно! А я, как представил, словно увидел наяву Вия и обомлел от страха, и меня охватила нервная дрожь. Она долго успокаивала меня, говорила, что когда падают бомбы, это страшнее. Но она лишь один раз испугалась бомбежки. Это было в Киеве. А позже, когда бомбили Москву, у нее не было страха. Я в те дни не мог себе представить бомбежку. Точнее, представлял по-своему: она, как фейерверки моего отца. Кругом взрывы, шипение разноцветных огней и смех людей, визги трусоватых девчонок...

Мы выпили с Жоржем по стакану вина и долго молчали. Первым заговорил Жорж. Он спросил:

— Как ты думаешь устроить свои личные дела?

Я покачал головой.

— Право, не знаю.

— Почему вы разошлись?

— Я даже не знаю, как тебе это объяснить? Она сама ушла от меня. Ты понимаешь, она не может быть женой. Ни моей, ни другого человека. Словно ей чего-то не хватает, словно она не женщина. Я поздно ей попался, встретился поздно с нею. Она внутренне очень хрупкая, очень, как цветок: любуйся им но не рви, сразу завянет. Тебе мама ведь написала, какая у нее была жизнь. Это правда. Она человек без детства...

— Разве ты до свадьбы не знал про

это?

— Знал, но не все. И потом, очень любил и думал, отогреется вот-вот человек, такой беззащитный, нежный и сумасбродный оттого, что ему давно одиноко.

Жорж потер пальцем кончик своего носа.

— А если ты все это выдумываешь? Что она просто чудо, которое нельзя забыть?

— Нет,— сказал я твердо.— Прошло время, и я могу элементарно разобраться в том, что было и кто она есть.

Мы говорили обо всем очень откровенно. Однако я умолчал об одной маленькой детали, не признался, что где-то я мистик, что ли. Даже не знаю, как это назвать. Я уже писал о том, как и когда мы расстались с Ирочкой. Так вот, мы с ней расстались в тот день, когда родилась Илиона — третьего декабря 1943 года. Меня поразило это обстоятельство, и я усмотрел в нем своеобразную подсказку, подумал: «Илиона моя судьба». Пригляделся к ней и словно потерял голову, увидев, что передо мной редкостный во всех отношениях человек. Я принял это как подарок судьбы. Трудный, невыносимо трудный и за который, быть может, мне придется воевать до конца жизни. И жизнь покажет, достоин ли я его, что я есть, куда иду и зачем?

Второго апреля — на второй день моего возвращения из Киргизии — я пошел гулять с Зайкой. Был теплый, по-настоящему весенний день. Мы бродили по парку и там встретили Илиону. У нас состоялся короткий, какой-то стыдливый и суматошный разговор, из которого я, пожалуй, до сих пор не сделал нужного вывода. Быть может, я был взволнован этой встречей и где-то подсознательно хотел другого. Не то, что сочувствия, а начала возможного примирения, хотя мы никогда и не ссорились. У нас никогда не было войны, но не было и мира. Я смотрел на ее усталое, странно увядшее лицо, и мне показалось, что она очень похожа на Ирочку, только на ту, которая собирала и относила камешки в лес. Зайка стояла между нами притихшая, и я просто забыл о

девчонке на какое-то время. Я смотрел в огромные грустные глаза жены, и мне так захотелось, чтобы она запела! И она без моей просьбы вдруг запела, тихонько, словно жалуясь: «Долго будет Карелия сниться...» Но дело не в этом, это просто несущественная деталь встречи в парке.

Я сбивчиво рассказал ей, где я был, и о том, как дома, как мама, она улыбнулась и по своей давней привычке неожиданно закрыла мне ладонями глаза и сказала: «Хочешь, я дам тебе совет?» Я одними губами сказал, что да, хочу. Она заговорила быстро, сбивчиво, и я почувствовал, что эту речь она подготовила давно, и ей трудно это говорить. «Вот тебе мой совет: не теряй Таню. Это золотая девочка, честное слово! Я уже все подготовила, днями ты получишь повестку в суд.

Тебе ничего не придется объяснять, хлопотать. Это моя забота. Милый, все будет хорошо, и ты сам увидишь, и тогда простишь меня».

Я понял, что она для меня как жена потеряна навсегда, но, пожалуй, ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я мысленно твердил одно: «О радость величавого мужества, о радость величавого мужества...» и молчал, стиснув до боли руку Зайки. Зайка и не пикнула, ей никогда не надо объяснять, когда говорит сердце.

Она убрала ладони с моих глаз, и я увидел слезинку на ее щеке. Совсем маленькую, незаметную. Слезинка не пробежала и полдороги, она высохла на ветру, но я вижу ее до сих пор...

«Спасибо»,— сказал я шепотом и, не попрощавшись, пошел с Зайкой по аллее. Пожалуй, я правильно сделал, что не сказал ей, что Таня уже потеряна для меня и что я это понял еще во Фрунзе. Мы — хотим этого или нет — одно поколение, а то, что у нас все так получается, не совсем наша вина.

Я вышел на проспект Октябрьской революции, взял девочку на руки. Она прижалась ко мне и сказала, что мне не надо бояться тигра. Вот она не боится, потому что не хочет бояться, а хочет быть всегда храброй и в стране снов и наяву. Я отвечал, думая о своем, что не буду бояться

тигра. Я попрошу, чтобы его убили добрые и сильные слоны, которые живут в Африке.

«Я тебе отдам свой Живой Камень,— торопливо заговорила девочка.— Он мне ни к чему, меня мама родила бесстрашной. Но ты все равно позови добрых и сильных слонов».

Я улыбнулся и крепко расцеловал Зайку.

11.

Я думаю, думаю... И больше всего вот о чем. Самое постыдное — это поспешные выводы, поспешные решения и недоверие. Недоверие, будь оно трижды проклято! Я сколько раз говорил с отцом на эту тему, но все же — при всем великодушии, которое было присуще ему,— он склонен был доверять и проверять. Подчеркиваю, проверять. Потому что так научили его. Но тут — стоит только задуматься — возникает некая цепная реакция: когда-то, может быть, десять тысяч лет назад, кто-то не поверил кому-то и возник страх, опасения и результат всего — тысячи бед человеческих.

Я люблю людей и верю им. Верю той, которая была моей женой, хотя было и недоверие, будь оно трижды проклято.

Я вспоминаю с ощущением стыда тот день, когда первый раз испытал недоверие к ней. История ее любви показалась мне дешевой и сентиментальной, словно из плохого романа: он усомнился в том, что она действительно любит его и мягко, но достаточно настойчиво потребовал доказательства. Она доказала древним, как мир, способом и была потрясена, убедившись, что больше ему не требовалась. Ее слишком долго делали беззащитной. Она долго защищалась, как могла, но давление пошлости продолжалось. Так среднеазиатский сель давит на плотину, которую построили люди в качестве защиты. Но вот чуть-чуть увеличился поток — и где плотина?! Сметена прежде стойкая защита, грязь заливает цветущую долину. Катастрофа, которая на какое-то время может показаться кончиной всего мира. Безнадежно гибнет долина, но разве более

никогда не зацветут на ней сады и не вырастут цветы и виноградники?

Я недоумевал, когда, будучи на сборах в Подольске, получил от Илионы странное письмо, где было все: и барабанный бой, мольба, и непонятная гордость вперемешку со смирением. Впрочем, так было всегда. Непостоянство наших взаимоотношений приводило меня к великой грусти, и сколько раз я говорил себе: «Хватит!» Я и осенью шестьдесят второго года сказал: «Хватит!» И, кажется, не грустил, потому что устал грустить. Но вдруг ее письмо и там строки, которые я напрасно пытался расшифровать. Но, быть может, я и не делал этого, восхитившись полупризнанием в любви и загипнотизированный одной лишь фразой: «Если ты такой, каким я тебя представляю, то я могу закрыть глаза, вложить свою руку в твою и пойти, зная, что упасть и наткнуться на что-нибудь грубое ты мне, пока ты рядом, не дашь».

Теперь я понимаю. Исчерпав свои надежды, она из одной крайности бросилась в другую. Возникла некая жажда самооправдания и самоутверждения. Только так, иначе я не могу толковать ее поступок и такие абзацы ее письма: «Когда ты приедешь в Ставрополь, на тебя обрушится град анонимок и пошлых разговоров обо мне. Говорю так, потому что так уже было. В общем, приготовься, гадостей будет много. Может быть, ты не хочешь всего этого. Я знаю, это все равно будет и ты никуда не денешься. Великая вещь — человеческая ревность и способность поверить всему, чернящему того, кого любишь. Вообще-то, любовь ведь тоже знает пределы...

Я сейчас не верю в любовь, не верю ни в какие чистые побуждения всех, кроме тебя. Понимаешь, почему-то считаю тебя я не таким, как все. Другим. Почему? Хотя бы потому, что ты дарил мне цветы и читал свои прелестные стихи. Те, которые ты сочиняешь для Зайки Травку Поедайки. Ты мог приходиться ко мне небритым, сразу после тренировки и, потирая лоб, задремать на стуле, и тебе будто все равно, какой ты внешне. Ты, пропахший велосипедом и соленый от пота, не похож на всех.

Поэтому я верю тебе, верю каждому твоему слову. Знаю, тебе не нужны доказательства, что стоит тот или иной человек, и доказательства любви. Ты всегда видишь в человеке только лучшее...».

Но это был последний крик, после которого, по-моему, пришла ненависть к слову. Я думаю, нет большей беды, чем ненависть к слову и рассуждению. Я это понял, когда пытался с ней рассуждать, и видел только слезы, слышал только лепет о какой-то черной старухе, поселившейся в ее душе. Эта старуха предсказывает ей злое, как бы ведет ее в атаку на чистое и благородное и вредит, вредит... Да, ненависть к слову рождается, как говорили древние, таким же точно образом, как человеконенавистничество. От безмерного и горячего доверия. А она, право же, очень долго умела доверять...

Я не хочу сказать, что она глупа, но и умом, к сожалению, она никогда не отличалась.

Но что было, то прошло. Пожалуй, и я не лучше поступил, когда пришел к мысли, что Таня — это что-то гадкое. Я до сих пор не пойму, что лучше — знание или незнание? Что выбирать? Но мерило одно, во многом знании много печали. Если бы не знать то, что она невольно мне сообщила, все было бы хорошо. Я обрел бы давно желанное равновесие и, наверное, семью. И вместе с тем это химера. Я, рано или поздно, но узнал бы то, что нечаянно узнал, и, возможно, потрясение было бы сильнее. Я над этим размышлял в ресторане «Ала-Тоо», и во мне накапливался взрыв, который произошел. Он был похож на грозу, на бурю, и после того стало понятно: кризис миновал, перелом наступил. И это было на исходе марта. Я понял, что «Конь» и ему подобные — мои злейшие враги, враги будущего, потому что дети — это будущее. Дети не должны быть униженными и побежденными. «Это гадко, гадко», — твержу я себе и не могу остановиться.

Всем, всем без исключения надо защищать королевство, над которым реет знамя: четырехлистный клевер на зеленом фоне. Я солдат, защитник этого королевства, и не пристало мне отступить в

любом случае. Лучше сгореть в газовой печи, лучше вынести все муки на земле, чем погубить нечто большее, чем ты сам. Так вступают в бессмертие, которого мы желаем. «Что есть конец? В конце ребенок». И если он совершил проступок, лучше всего его простить. Не надо усугублять ошибок тех, кто неустанно учится. Надо быть другом и наставником детей, Фабром детского мира.

Это не мои мысли. Это мысли Джордано Бруно XX века. Того, кто утверждал абсолютную ценность детства. Того, кто справедливо упрекал нас: «Если поделить человечество на взрослых и детей, а жизнь — на детство и взрослость, то детей в детстве мира и в жизни много, очень много. Только погружаясь в свою борьбу, в свои заботы, мы не замечаем их, как не замечали раньше женщину, крестьянина, закабаленные классы и народы. Мы устроились так, чтобы дети нам как можно меньше мешали и как можно меньше догадывались, что мы на самом деле собой представляем и что мы на самом деле делаем».

Я не сразу поверил мыслям Януша Корчака. Я не вбивал их в голову, как гвозди в дерево, в студенческих аудиториях и с честолюбивыми намерениями быть отличником. Я мысленно не раз возвращался в свое детство, в детство близких мне людей и сопоставлял, анализировал, делал выводы. В муках пришел я к этой исповеди, но до конца ей еще далеко...

12.

«Федя, Феденька, это я, милый!

Получила письмо, читала, перечитывала и целый вечер редела, как последняя дура. Ночь не спала, а утром глянула в окно и поняла, что начался мой новый день. День любви и ненависти, радости и горя, возвышения и падения. И это был день понимания и непонимания. Короче, сложный и трудный день оранжевого цвета. Наконец ты сообразил, что я действительно люблю тебя, наконец я поняла, что нужна тебе, и впервые за эти годы посылаю тебе письма, даже кучу писем. Читай, злодей, ты своего добился. Утешь свою гордую душу окончательным

смирением одной девчонки. Федя!

Твое письмо было последней каплей, а мое смирение началось гораздо раньше, в незапамятные времена. Я всегда за тебя боялась: так боится мать за ребенка. Но ты привел, меня в отчаяние своим неожиданным отъездом. Когда мне сказали, что ты уехал куда-то в поисках справедливости, я подумала: это он навсегда. Ибо то, что ты ищешь, трудно и даже невозможно найти. Ты ведь сумасшедший, ненормальный, любимый мой. Мое сердце чувствовало приход бури, грозы. Ты должен был выкинуть какой-нибудь фортель, иначе — ты был бы не ты. Но я ожидала всего, что хочешь, только не восстания.

Ты поспешил в родную долину, чтобы напиться иссыккульской воды и прочитать стихи с вершины Юлиуса Фучика, а затем нокаутировать гнедого «Коня». Но ты к нему несправедлив. Так и папа говорит, а я ему верю. В тебе, оказывается, есть и жестокость. Вот уж чего не знала! И вообще, чем дальше я тебя узнаю, тем больше убеждаюсь: ты разный. А одна глупая девчонка шесть лет назад влюбилась в, казалось бы, бесконечно доброго человека. Что? Это для тебя новость? Конечно, новость. Ты и не подозревал, какую бурю чувств вызвал у одной девятиклассницы. Это понятно. Ты был занят тем, чтобы получить пятерку за свои уроки. Ты был ужасно строг, деловит и неприступен. Как же, без пяти минут учитель! Девчонки из нашего класса тебя дружно недолюбливали — ты ведь не обращал внимания на то, что у некоторых из них смазливые мордочки — и они дружно говорили: «Из этого типа выйдет зануда еще та». У мальчишек ты был кумиром. Им много не надо: значок мастера спорта, фотографии в газетах, первые места на соревнованиях... Я была заодно с девчонками, а не с твоей полуспортивной шайкой, которую ты организовал в нашей школе. Была до тех пор, пока ты не улыбнулся и не прочитал мне стихи Блока. Помнишь вечер? Впрочем, что ты там помнишь! Это был вечер по случаю Октябрьских праздников, в школе. И ты пришел, наверное, следить за

порядком. Стоял у двери и зевал. Николай Иванович, с которым ты проходил практику в нашем классе, тот танцевал вовсю, а ты был выше, айсберг, скала ледяная! Мы решили подшутить, поочередно приглашали тебя танцевать. Решили, чтобы начала я, самая рослая и самая красивая в классе.

Бог мой, как ты смутился и покраснел, услышав мое приглашение. Ты был похож на ошипанного птенчика, невнятно лепетал, что почти не умеешь танцевать. Но я была настойчива. И правда, ты танцуешь, как медведь, два раза наступил мне на ноги и дрожал весь, а девочки пялили на тебя глаза, откровенно смеясь. Ты сказал: «Хватит. Пожалуйста, это не мое амплуа, хватит». Но я решила довести шутку до конца, а ты, видя свое окончательное поражение, робко сказал: «Я сегодня на тренировке прошел 200 километров и ноги у меня, как ватные». Это твои-то ноги ватные? Не ты ли их позже хвалил: какие у меня великолепные ноги, ноги, которые не умеют уставать. Но я этого не знала и пожалела тебя. Мы ушли из круга танцующих. Я шла, притворившись глубоко обиженной. По-моему, у меня даже слезы блеснули на глазах. Ты долго смотрел на меня и вдруг улыбнулся. И ты сказал: «Хотите, я прочитаю вам стихи» и начал читать. Ты помнишь это?

«Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту,— что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник, не обманщик и не гордец, хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой. Ведь я — сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет. И потому хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе.

Право, я буду за вас рад, так как только влюбленный имеет право на звание человека».

Ты помог мне понять, что мир разноцветный, что белые дни — это монотонные дни. И вдруг в моей жизни выдался зеленый день. Смешно, конечно, что у меня цветковое ощущение дней. Я никогда никому не говорила об этом. Ты первый, кому сказала, а точнее — пишу. Мое любимое занятие сидеть на диване в одиночестве и вспоминать прошедшие дни, различая их по цвету.

Уважаемые пользователи!

Обращаем ваше внимание на отсутствие последних страниц (с.79-80) в публикации повести Вадима Чернова «Возвращение к детству». К нашему огромному сожалению, эти страницы безвозвратно утеряны.